

**Лидия
САВЕЛЬЕВА**

г. Петрозаводск

*Мы дети заводов и на-
шен, и наша дорога
ясна. За дайте счастья
все наши спасис, родная
страна!*

«В начале жизни школу помню я...»

Конец войны

В № 5-6 журнала «Север» за 2017 год

были опубликованы воспоминания

Лидии Савельевой

«Потерянный рай»,

рассказывающие о предвоенных

и военных годах,

проведенных в Полтаве.

Лидия Владимировна

продолжила работу

над воспоминаниями,

предлагаем читателям новые главы.

Охватывая памятью все десять лет школы, я не могу припомнить других случаев такой не любви к предмету, такого его неприятия и вместе с тем такого собственного усердия, изумляюще меня саму, как чистописание во втором классе. С ним больше всего были связаны мои школьные огорчения. Сейчас я могу только удивляться, как вообще ухитрялась выполнять требования учительницы.

У большинства моих одноклассниц для этого все-таки были настоящие тетради в косую линейку. Позже стала понимать, что часть девочек была снабжена ими за счет отцовских офицерских аттестатов, другая часть – за счет донорской крови их матерей (что было исключено для моей матери из-за осложненной близорукости). Я относилась к меньшинству класса, которое, если не пользовалось самоделками, писало на обороте каких-то бухгалтерских книг или обходилось отдельными листиками из тетрадей старших братьев и сестер. У меня, дочери солдата, фактически проверяемого фронтом как минимум на коллабо-

рационализм, и низкооплачиваемого библиотекаря, долгое время единственной возможностью писать оставались уже известные изделия моей мамы из грубых оберточных листов. Хотя они были результатом настоящего материнского подвига (представьте: расчертить только одну страницу по трем горизонтальным и очень густым косым линиям, а таких страниц в тетради было 48), я исписала или испортила не менее десятка тетрадей. Сейчас я очень сомневаюсь, что у кого-то еще нашлась такая же усердно-упорная мама! Но эти жалкие «галле», разумеется, не выдерживали критики в ряду аккуратных типографских изделий с волшеббно-гладкими страничками.

Современному человеку, давно привыкшему к самопискам, шариковым ручкам, фломастерам и прочим изыскам, вплоть до золотых перьев, трудно даже представить себе все сложности военных лет при освоении этой обязательной школьной дисциплины – чистописания. Оно было замечательно задумано традиционной, еще с гимназических времен, программой по выработке красивого почерка. Задумано как каллиграфическое священнодействие – порождение изысканных буквенных начертаний из перемежающихся нажимов и волосков. Буквы действительно получались необыкновенно изящными, настоящими графическими красавицами. Особенно радовала и даже ласкала мой глаз жизнерадостная прописная буква «Ф». Ее я воспринимала как живое существо с веночком на голове, которое, взяв себя за бока, делает в наклоне ножкой замысловатый пируэт, – в общем, как фигурку из женской партии украинского гопака.

Не случайно мама мне говорила, что у настоящих мастеров писцового искусства развивается особое отношение к каждой буквке. При этом она имела неосторожность в присутствии моего вредного брата привести в пример гоголевского Акакия Акакиевича, у которого были свои буквы-любимчики. Если я еще не могла в полной мере оценить эту аналогию, то мой одиннадцатилетний братец звонко захохотал и сказал, что не хочет равняться на Башмачкина, а потом еще и стал дразнить меня! Особенно когда я вечерами, обложившись уймой обязательных сопутствующих предметов (промокашки, чернильницы-непроливайки, баночки с чернилами для подливания, специальной перочистки из матерчатых кружочков с пуговицей посередине, запасных перьев, палочки для чистки чернильницы от бумажных волокон), при свете копилки, – а ею служил широкий патрон, или гильза, с ватным фитилем в керосине, – с невероятным прилежанием свершала свои каллиграфические подвиги.

При этом, несмотря на цепкое царапающее перо (№ 86, кажется), на шершавую и волокнистую бумагу, абсолютно не приспособленную для задуманного священнодействия, несмотря на коварство непроливайки, которая непредсказуемо забивалась бумажной плотью от кончика не менее коварного пера, я все же иногда умудрялась дописывать две страницы без клякс и помарок. Противенький Коляка нередко подзуживал: «Лидочка Башмачкина, Лидочка Башмачкина», а то и «Акакиевна, Акакиевна», но я держалась, тем более, что мама всегда говорила, что лучше всего не обращать внимание на дразнилки, тогда мальчишкам становится скучно и они отстают. Это она вспоминала свое детство, когда ее старший брат Саша, увидев, что Марина учит устные уроки (а он этого отродясь не делал), поддразнивал: «зубрилка, зубрилка». Марина обижалась, а мама быстро ее научила, как отвадить пристающего брата.

Если же у меня сами собой вдруг выпрыгивали чернильные кляксы, особенно на ножных пируэтах прописных букв, а на их шапочках – даже огромные лужицы (это забивалась чернильница), то я, побыстрее промокнув, просто переворачивала лист из-за внушающей мне ужас страницы, чтобы глаза мои этого не видели. Мама, которую моя расточительность касалась непосредственно (шли прахом ее труды!), видимо, все понимала, раз я совсем не помню ее упреков, а вот нашей Анне Яковлевне, увы, это крайне не нравилось. Она совсем не представляла себе ни моих мук, ни оскорбленных кляксами эстетических чувств и просто негодовала, как это я, столь безобразная в чтении и арифметике, допускаю такое безобразие на письме. Я же горько рыдала: «У меня без клякс не получается!»

Папа в письме из прифронтового госпиталя (он писал, что ранен осколком в левую руку, но что все уже хорошо) меня успокаивал и объяснял, что он мне очень завидует, потому что «чистописание – это искусство изображения», а он с самого детства больше всего любил рисование. Раньше даже дипломы учителя чистописания выдавала Академия художеств. Его дочка должна понимать, что учиться рисовать буквы специальным инструментом – трудно. Не только понимание, но и неожиданную поддержку мои слезы получили от бабушки, которая грудью встала на мою защиту и даже ходила объясняться с Анной Яковлевной (случай невероятный, моя мама никогда ко мне в школу не заглядывала), доказывая, что я девочка ответственная, а всему виной плохая бумага.

Так было до одного из самых счастливых в моей ребячьей жизни моментов, когда мне приобрели

наконец несколько стандартных типографских тетрадей. Конечно, только благодаря офицерскому аттестату нашей Марины. Чуть кремовый цвет их волшебнo гладких страничек и ровные синенькие линии вместо мрачно-серого фона и слабо виднеющегося на нем карандаша казались мне верхом совершенства и настолько приводили в восхищение, что я до сих пор помню их в малейших деталях обложки и скрепок.

Из моих ранних, можно сказать, даже первых жизненных уроков ярко отпечаталось в памяти следствие по делу о выеденном яйце, которое провела наша Анна Яковлевна, обнаружив в мусорном ящике... зеленые пасхальные скорлупки. Оказалось, что это «религиозное преступление» требовало немедленного выявления виновницы и ее прилюдного осуждения. Сначала Анна Яковлевна заинтриговала наш класс, строго и срочно вызвав со школьного двора весело гомонящие на перерыве стайки восьмилетних девочек. Плотнo закрыв дверь, она трагическим голосом сказала, что в нашем классе, оказывается, есть верующий в Бога человек, который, как очень старенькая и неграмотная бабушка, живет давно позабытым прошлым и празднует давно отжившие праздники. «Это совершенно несоветское поведение позорит не только наш класс, но и всю нашу школу. Оно очень, очень расстроит нашего директора. Боюсь, он сегодня же вызовет виновницу. А теперь скажите: кто из вас съел яйцо и оставил эту позорную скорлупу в классе?» Мы все замерли, помню свой ужас, ведь это могла быть и я, и, как думаю, еще человек десять в классе. Нависла абсолютная, жуткая тишина... И вдруг в ней послышались слабые всхлипывания несчастной Гали Семдяшкиной, старательной и робкой девочки из многодетной семьи, до самых холодов ходившей в тряпочных тапочках с завязками, а главное, только недавно получившей похоронку на отца. «Нас угостили...(всхлип)...сказали... это же Пасха...» Тут уж всхлипы перешли в рыдания, за которыми последовали слезы еще нескольких напуганных одноклассниц. Кажется, эти незапланированные слезы поддержки несколько охладили антирелигиозное рвение нашей первой учительницы, и она снизила прокурорский тон, думаю, убоявшись всеобщего рева. Мы ведь еще не привыкли быть в подозрении преступных деяний, и нервы были совсем незакаленными.

Галю куда больше не вызывали, но Анна Яковлевна хорошо напугала тогда всех нас, по-своему подготовив к будущей жизни. Во всяком случае, я ведь не сделала глупости, которая так и напрашивалась в мою голову: подойти и тихонько сказать,

что моя бабушка грамотная, знает много языков, а все-таки... празднует Пасху.

Дома бабушка отнеслась к этой истории на удивление равнодушно, как мне показалось. Она просто перекрестилась и сказала: «Ну, слава Богу, молодец, что сумела промолчать» и добавила загадочные слова, что Анна Яковлевна будто бы то ли «расшибла» сама себе лоб, то ли «расшибает» его. Коля же похвастался, что в их замечательной школе многие мальчишки не только принесли с собой, но и еще «стукались» крашеными яйцами, а свою учительницу даже угощали куличом! Так что не всё и не для всех было однозначно, – этот урок по предмету «свобода совести» я хорошо усвоила во втором классе.

Шел последний год войны, и он больше всего проходил в радостном ожидании новых успехов нашей армии. В течение дня были включены все громкоговорители на улицах Полтавы. В нашем доме такая тарелка стояла как самый важный и судьбоносный жизненный ориентир, конечно, на бабушкином рояле. Через открытую дверь в коридор его позывные разносились на весь дом, а летом через открытые окна – и на весь сад и даже во двор, а уж и при первых звуках голоса Левитана сбегались все, включая и маленького Сережу. Писем ждали жадно, с нетерпением и трепетом, но их было так мало. Невольно вспоминали смешные Сережкины надежды, что его папа привезет с собой мешок писем. Его папа действительно приезжал из Ленинграда в отпуск на целых 5 дней, но они были отравлены потерей или даже кражей его документов, о чем дядя Саша неустанно хлопотал все эти очень счастливые и в то же время очень тревожные дни, так как по законам военного времени он подлежал суду. Невероятное счастье от их находки уборщицей военкомата тогда, кажется, перекрыло все другие чувства.

От нашего папы заветные треугольнички приходили, как правило, регулярно. Он совсем ничего не писал про войну, к сильному разочарованию Колечки, которого ну очень интересовало, сколько у них пушек и сколько фашистов он убивает в неделю, зато вникал во все детали нашей жизни и все время писал «мы с Шурой» и, помню, часто радовался, что они не ленились и «вовремя успели окопаться». Но как-то вдруг мама не получила обещанного письма, и мы все месяц или даже больше были в невыносимом напряжении: что случилось? И тут, между папиными письмами, к нам прибежала Тамара Петровна Светозарова (она жила очень далеко и бывала у нас редко, обычно раз в месяц) и передала, что папа ранен осколком, но дядя Шура проследил, чтобы его куда-то в тыл не отправля-

ли, а сделали бы несложную операцию в ближайшем фронтовом госпитале. Мама плакала, а бабушка и даже тетя Галя говорили «Побойся Бога и благодари его» и вздохнули с большим облегчением. Тамара Петровна, как всегда, считала своим долгом, как человек бездетный, обязательно оторвать от себя из своего пайка (она была инженером-технологом мясокомбината) какую-то часть этих драгоценных «белков», как она называла, буквально навязывая их моей маме. На всю оставшуюся жизнь они с дядей Шурой стали самыми близкими и родными нам людьми.

Много лет позже, уже в мою бытность почтенной матроной, тетя Галя призналась, как она однажды была виновата перед моей мамой, глупо напугав ее фронтовым треугольничком. Так как они с мамой с первых дней знакомства очень сблизилась и тесно подружились, она решила немножко пошутить и, первая получив от почтальона папино письмо, сказала ей игривым голосом, намекая на якобы посторонний интерес к ней: «Туська, что-то почерк незнакомый, это какой-то Володин фронтовой друг, наверное!» В ответ на эти слова мама побледнела и... грохнулась в обморок от ужаса. Этот случай привожу потому, что писем очень ждали, но и очень боялись буквально все. Только молодое легкомыслие позволило моей тетушке тогда хоть на минуту забыть о самом главном: письмо могло быть голосом не только жизни, но и смерти.

Страшные похороны добрались и до нашего класса. Это случилось у двух моих одноклассниц. Особенно я запомнила реакцию класса на скорбную весть для семьи Гали Семдяшкиной. Во время урока Анну Яковлевну вызвали за дверь, какое-то время она отсутствовала, и мы весело расшалились. Вдруг она возвращается с измененным лицом и просит Галю выйти со своей школьной сумкой за дверь, где ее ждет сестра. Непонятно почему, Анна Яковлевна не сердится на нас из-за гомона в классе и ведет себя необычайно тихо и торжественно. Постепенно класс сам успокаивается, и тут наша учительница говорит: «Дети, в семье Гали большое несчастье. Ее маме сегодня утром почтальон принес извещение о гибели мужа на фронте. У них четверо детей. Галин папа погиб за всех нас. Сделаем перерыв». Тут Анна Яковлевна поднесла к глазам платок и быстро ушла в учительскую. Что тут поднялось! Кто-то плакал из-за Галиного горя, кто-то вспомнил о несчастьях в собственной семье и плакал тоже, кто-то не мог устоять, когда все ревут... Потом в класс вернулась Анна Яковлевна и, немного успокоив нас, сказала: «Давайте думать, чем мы можем помочь Гале Семдяшкиной». Тут уже загомонили все по де-

лу, и было решено, что родители постараются собрать деньги для семьи Гали (что потом и сделали). Девочки не было в классе целую неделю, кажется. Потом она вернулась еще более бледная и тихая, чем обычно. Она слабо улыбалась и благодарила, когда перед ней поставили почтовый ящик с какими-то продуктами и мелкими школьными радостями. Помню, что я сунула в его фанерную утробу со свертками новенький толстый карандаш с двумя грифелями – красным и синим, который меня безмерно радовал и который мне достала тетя Ира.

Странно, но когда я пытаюсь вытащить из подвалов памяти эпизоды полуголодной жизни времен своей начальной школы, я всегда вспоминаю почему-то ощущение явной неловкости, даже стыда перед Анной Яковлевной за то, что у нас чего-то нет или не хватает. Не случайно старалась с вопросом «можно выйти» исчезать из класса, когда Анна Яковлевна зорко наблюдала, кто и что ест из домашней снеди, и с охотой принимала предложения «что-то попробовать». Подозреваю, что это ощущение сложилось не сразу, но к третьему классу точно. Почему так? И задним числом уже соображаю, что, видимо, всегда чувствовала ее неровное отношение к девочкам с разным достатком в семье. Например, кто был у нас в классе самой первой, самой любимой ученицей, которую всегда называли с соответствующим суффиксом? Конечно, Раечка Спекторова. Кто из нас всегда был самой нарядной, самой веселой и, как теперь говорят, самой раскованной? Конечно, Раечка Спекторова. Кто первый всегда поздравлял с праздниками от имени всего класса, дарил подарок и целовался с Анной Яковлевной? Сомнений не могло быть, обязательно она же. С одной стороны, это было естественно: действительно, Рая была способной и исполнительницей девочкой, да еще такой румяной, хорошенькой, с двумя тугими рыжими косичками, всегда так красиво одетой, что, наверное, просто грех было такого ребенка не расцеловать. (Жаль, что не знала ее после 4-го класса, так как они потом переехали.) Но... случайно ли я запомнила непонятные мне до конца и по сей день слова «потребсоюз» и «райпотребсоюз», которые с почтением, если не с придыханием, произносила наша учительница и которые имели отношение сразу к двум ее родителям?

Однако гораздо хуже, что были примеры и противоположного свойства, так как безжалостные двойки и суровая холодность порой подозрительно совпадали с нуждой и заброшенностью моих одноклассниц. Так что ничуть не умаляя достоинств моей первой учительницы, с грустью не могу не признать ее «имущественного почтения» или даже

трепета перед родителями, особенно если они еще и часто появлялись в школе. Конечно, дети это чувствовали, и это, разумеется, не могло не отвлекать рабочую атмосферу и нередко расхолаживало любознательных девочек. Таких, как Варя (фамилию не помню), с которой мы вместе возвращались из школы (она жила около Николаевской церкви) и которую поджидали дома бабушка и младшие братья-близнецы. Она ведь не случайно потом перевелась в параллельный класс.

Кроме таинственного «потребсоюза», в классе я еще слышала загадочное слово то ли «ленлиска», то ли «лендлиска», тоже связанное со съедобными продуктами. Слово это засело в детской памяти, и только много-много позже я узнала, что так, видимо, чьи-то родители и Анна Яковлевна называли то, что в домашнем быту у нас обозначалось как «американские подарки». В нашей полугодной семье овощеедов иногда бывали праздничные застолья, когда перед ждущими чуда детскими глазами появлялись маленькие консервные темно-зеленого цвета баночки без надписей, содержимое которых никто почему-то не знал заранее. Один раз нас порадовала божественного вкуса желтая молочная сгущенка, но чаще всего там оказывались лапша или бобы в мясном соусе, картошка вперемешку с чем-то вроде яичницы из порошка (такая банка разочаровывала мою маму), а иногда, к бурному восторгу Сережки, несколько слоев разных конфет (разумеется, отнюдь не шоколадных) и каких-то непонятных сухих сладостей. Наверное, эти «подарки» получали по талонам, к тому же думаю, что среди них бывали баночки и побольше, и покалорийнее, но до нас они, увы, не доходили.

Происхождение этих подарков осознала уже в 2000-е годы, когда то ли по ТВ, то ли в газетах прошла информация о том, что Россия окончательно выплатила долг США по Программе «Lend-lease» (в переводе с английского что-то вроде «взаимы-внаем»), по которой в 1944–1945 годах поставлялось союзникам не только вооружение, но и продовольствие и другие товары. Конечно, именно об этих таинственных «лендлисках» и толковали почему-то Анна Яковлевна с приближенными родителями. Понимаю, что все, в том числе и наша одинокая учительница, тогда жили в полугодном режиме. Как говорится, Бог ей судья!

Не знаю почему, но день победы для нас оказался незабываемой «ночью победы». В ту майскую ночь, еще сравнительно прохладную, нас разбудил стук. В окно с улицы стучали через фигурную железную решетку. Стучали громко и настойчиво. Пришлось маме приоткрыть ставни. Мы с братом

тут же с беспокойством вскочили и при ярком свете то ли каких-то огней, то ли салютов увидели в окно около десятка людей, высыпавших на улицу в своеобразный курдонер перед боковой стороной нашего дома. Это были сбегавшиеся из двух-трех окружающих домов соседи, которые обнимались и громко выкрикивали: «Ура! Вставайте, вставайте! Победа, победа! Ура! Ура!»

Поскольку окна только нашей комнаты выходили на улицу, еще полураздетый Колька, как молния, с радостным и пронзительным визгом «Победа! Конец, конец войне!» сломя голову ринулся по коридору будить остальное семейство и живших тогда у нас киевских беженок. По прошествии многих лет мне кажется очень показательным, что какая-то неведомая сила буквально вытолкнула весь разбуженный народ и заставила всех соседей собраться непременно вместе, именно воедино. Выбегали матери с маленькими детьми на руках, выбегали подростки, выходили старушки и редкие старики вроде Алкиного Титька. Из своих углов «выскочили» с костылем и палочкой очень-очень старенькие бабушки Сидоренчиха и Хоменчиха, которые никогда не покидали свой дом даже под бомбежками. При этом одинокая Хоменчиха (мама называла ее тетей Пашей), потерявшая в тридцать третьем году от голода всю семью, всегда замкнутая и суровая женщина, длинная, как жердь, и вся испещренная морщинами, решительно отбросив свою палочку, вдруг согнулась и выхватила из рук тети Гали нашего Сережку. Он прижимался к своей маме, мало что соображая со сна. Неожиданно она стала его целовать, не вытирая своих струящихся слез с его заспанной мордашки, и это нечаянное умывание, изумив меня, буквально врезалось тогда в память... Поздравляя друг друга с концом войны, все, даже малознакомые собравшимся киевлянки, обнимались и трижды целовались друг с другом, совсем так, как бабушкины гости на Пасху. Ведь конец войны для всех тогда означал конец мукам – смертям, разлуке близких, голоду, разрухе... Многие повторяли: «Живые!.. Мы живые!.. Теперь все вернутся домой!..» Помню впервые увиденный мной прилюдный плач нашей обычно очень стеснительной тети Иры (она, конечно, оплакивала оборванную войной жизнь дяди Антона, так как всегда была уверена, что его можно было вылечить), рядом с ней глотали слезы счастливые мама с тетей Галей. Мы же с Лидой обнимали за ноги и пытались хоть немного успокоить высокую и шумную тетю Валю, ее маму, потерявшую своего «любимого Андрейку» уже в первые дни войны, а потому у нее с радост-

ным и лихорадочным смехом чередовались всхлипы и горестные причитания.

К сожалению, у меня не хватает слов, памяти, да и необходимого поля моего детского взора, чтобы хотя бы приблизительно обрисовать эту завершающую ночь полтавской военной жизни.

Когда я вспоминаю бурную тогдашнюю радость, ликование и слезы обитателей нашего двора, почему-то инстинктивно сбившихся в какую-то детскую «кучу-малу», то мне представляется, что вот оно, исконно русское с о б о р н о е восприятие такого чудесного слова «победа», как «того, что следует после, за бедой,», то есть понятием тоже с о б о р н ы м (а не индивидуальным, как горе – понятие изначально личного вкусового ощущения). Знаю, что авторитетные ученые считают такое происхождение слова победа этимологией народной, то есть ложной, но лично во мне по этому поводу бунтует если не разум, то душа. Ведь в своем раннем детстве я видела воочию, какой неоспоримой всеобщностью и могучей надеждой на лучезарное будущее обладало одно-единственное слово «победа» для всех, кто его тогда услышал.

Так неужели эта этимология народная может считаться неистинной?

После войны и фронта

Возрождение Полтавского строительного института в бывшем «Дворце Кочубея» и еще совсем недавно немецком генштабе началось почти сразу после освобождения от оккупации. Вскоре бабушка поняла, что для нас это соседство может стать выходом из острой жилищной проблемы. Ведь двумя бомбежками наш дом был сильно разрушен и срочно требовал капитального ремонта, на который денег, конечно, не было. И вот бабушка заключила со строительным институтом юридический договор: для расселения его работников она отдает ему в собственность половину дома, а за это институт обязуется сразу же перекрыть крышу и осуществлять капитальный и текущие ремонты.

Для нас, детей, все это обернулось самыми противоречивыми чувствами в связи с начавшимся после победы «переселением народов», которое совпало с постепенной демобилизацией армии и другими ощутимыми переменами. Уехали наши киевлянки, причем все мы трудно расставались с ними, особенно с веселой тетей Женей Васильевой, возвратившейся в свой родной кукольный театр и до конца дней поддерживавшей с моей мамой связь.

На Западную Украину, куда-то сначала в Турку, потом в Дрогобыч или Жидачев, была по долгу службы послана моя тетя Ира, которая после долгих сомнений не смогла оставить Галочку и все-таки решила забрать ее с собой, еще не понимая всех опасностей, ожидавших ее, руководителя отряда землеустроителей, в бандеровских местах. Почти сразу после победы засобиралась в Ленинград тетя Галя, и они с Сережей, которому вскоре пошел пятый год, фактически сидели на чемоданах, ожидая вызова.

Почему-то я совсем не помню момента, когда в нашей полтавской жизни появилась тетя Мара (Мария Николаевна), моя двоюродная бабушка. Но знаю, что она не успела эвакуироваться из Киева, попала в оккупацию, а когда немцы отступали, ее захватили в облаву для угона в Германию. По дороге к Харькову она как-то сумела выпрыгнуть из теплушки и пешком добралась до Полтавы, совершенно без всяких вещей, но с кошкой Настей за пазухой. Это была одна из трех младших сестер моей бабушки, ее жизнь до той поры протекла на каких-то других меридианах. После окончания Полтавского женского института, который ко времени ее поступления уже потерял старое название «пансиона благородных девиц» (бабушка иронизировала: просто по причине смены благородства модным легкомыслием), она недолго работала классной дамой в одной из гимназий, но после революции переехала в Киев, где жила вдвоем с другой своей сестрой-погодкой, и продолжала преподавать сначала французский, потом русский языки. Замечательная красавица с правильными чертами лица и огромными голубыми глазами, наиболее яркая из всех сестер, она была очень похожа на свою мать Марию Александровну Пушкину-Быкову, но судьба ее во многом повторила жизнь другой тезки-красавицы – старшей дочери Пушкина, которая во второй половине жизни воспитывала детей и внуков брата. В жизни незамужней тети Мары была драма: герой ее романа, избранник из киевских дворян и единственный сын в семье, будучи не в состоянии примириться с советскими реалиями, после смерти матери ушел в монахи Киево-Печерской лавры и находился там до самого закрытия его советской властью в 1930 году. Куда он исчез после этого, тетя Мара так никогда и не узнала. Но поскольку он был очень религиозным и принципиальным человеком, она осталась в убеждении, что он сгинул где-то в лагерях.

Хотя они с бабушкой были далеки и по возрасту (до своего замужества бабушка знала сестру только жизнерадостной и не особенно старательной девочкой), и по характеру, и по жизнен-

ным устремлениям и в последующем жили врозь, бабушка, конечно, с радостью приняла ее под свое крыло, забыв все свои упреки в легкомыслии. Впрочем, эти упреки сегодня кажутся очень смешными, судя по тому, что три младшие сестры приводили мою серьезную и уже замужнюю бабушку в ужас тем, что возвращались с прогулок через окно после 4-х часов дня, хотя отец строго запрещал им такие вольности.

Тетя Мара оказалась человеком необыкновенно живым, деятельно-изобретательным, самоироничным, неприхотливым, не унывающим ни при каких обстоятельствах. Она сразу очень сблизилась с мамой, а после возвращения папы с фронта – и с ним. Что касается меня, то я очень благодарна судьбе за то, что тетя Мара буквально украсила собой мое детство и отрочество, в частности, приобщив меня к театральным спектаклям и постановкам, а также ко множеству ремесленных поделок разного рода.

Вскоре наш дом чуть-чуть подлатали (помню слезы полубманутой бабушки), и сразу же в отданную половину въехали с двух ее входов институтские работники. В бывших комнатах тети Иры и дяди Антона поселилась сравнительно молодая пара – очень славный преподаватель, кажется, геодезии Борис Николаевич с женой-врачом. Я не упомянула бы о них, если бы потом это не обернулось для бабушки моральной проблемой, типичной для послевоенного времени, хотя и не детской (об этом скажу позже). Со второго входа, в бывших комнатах Коннона и двух других немцев, поселилась семья преподавателя физкультуры по прозвищу Гыря. Его дочке, двухлетней Валечке, было суждено послужить мне пусть слабым, но пластырем на душу, тяжело и надолго раненную отъездом маленького Сережи (увиделись только через два года).

Приблизительно тогда же сменились обитатели соседнего дома, и нашими соседями по двору стали жена бывшего начальника отдела кадров строительного института М.И.Марченко с двумя девочками-погодками – Лерой и Кирой, причем старшая из них оказалась моей ровесницей. Они, как и мы, ждали папу с фронта, но наш папа опять долечивался в госпитале, а Матвея Ивановича уже демобилизовали, и он вот-вот должен был вернуться. И он вернулся очень ранним утром, по словам соседней, до рассвета, на большом крытом грузовике, который разгружали очень долго, пока все не проснулись и не увидели во дворе эту громадину.

Было жаркое утро, и мы с Лидой Окуновой и Сережкой брызгались водой из бочки, стоявшей ря-

дом с нашей скамейкой, когда к ней подбежали счастливые девочки и Кира радостно и не без гордости объявила нам с Лидой, что их папа приехал и привез из Германии много ящиков с подарками. Но только мы развесили уши, чтобы услышать самое интересное, как появился их папа, которого мы видели впервые, и я просто застыла от изумления. То, что он строгим голосом позвал дочек домой, ничуть меня не удивило, но он был в майке, а из-под майки... на плечах, руках и спине... пробивалась мохнатая шерсть!!! Такого я еще ни у кого не видела и просто ахнула про себя, вспомнив сказку Аксакова (впечатлившая меня художественная обработка народной сказки об аленьком цветочке), о чем немедленно с благоговейным ужасом сообщила своей подружке. Но она, не по годам рассудительная, как всегда говорила о Лиде моя мама, сказала, что вообще так иногда бывает у людей, она слышала, и надо к нему еще приглядеться. Ох, как она оказалась права!

В то же лето, когда я готовилась поступать в музыкальную школу, узнала, что Лера уже учится там и при том ее записали в общеобразовательную школу им. Короленко, как раз в 3-й «А». Так что моей одноклассницей оказалась девочка из нашего двора! Я была просто счастлива и не могла понять, почему мама и бабушка, да и тетя Мара не проявляют радости.

Впрочем, бабушка и я были в это время заняты серьезным делом: готовили программу (это было новое и очень страшное для меня слово) для экзамена по музыке. К сожалению, не помню третьего номера этой программы (что-то полифоническое), но этюд Черни, сонатину Клементи и заключающие ее «Вариации на русскую тему» Майкапара помню до сих пор. На экзамен я ходила вместе с бабушкой в старое двухэтажное здание на Пушкинской рядом с Березовым сквером. К бабушкиной радости, по результатам этого экзамена меня взяла к себе в класс считавшаяся одной из лучших, а для меня и, безусловно, самая лучшая учительница Ольга Васильевна Шкляр, и я, таким образом, попала в третий класс музыкальной школы.

Исполнилась мечта всей жизни моей мамы, то, чему в ее детстве не суждено было осуществиться. Прабабушка очень хотела научить любимому внуку игре на фортепиано и, конечно, познакомилась с музыкальной грамотой, но все же это длилось только два-три года, да и нерегулярно, когда мама могла ходить к ней и ее инструменту из подвала на Монастырской (если были обувь и одежда), и мама потом немножко играла только по слуху, благо у нее он был абсолютный. Зато при ней всегда был еще и голос, не сильный, но приятного тембра, ду-

маю, лирическое сопрано, само собой разумеется, не обработанное особым вокальным образованием. Разве только советами бабушки и Федора Николаевича Попадича, известного композитора, дирижировавшего хором ее керамического техникума – единственного, куда ее приняли, несмотря на происхождение. При этом она необычайно любила многоголосие, но часто и солировала в любимых ею самодеятельных хорах. Меня же всегда особенно восхищало их исполнение с бабушкой-аккомпаниатором и по совместительству меццо-сопрано «Дуэта котов» Дж. Россини, если только правильно помню название этого мяуканья. Мы с папой воспринимали его с восторгом как картину из оперы «Областная кошачья богадельня» (попечитель – тетя Мара). Оно звучало восхитительно остроумной параллелью реальным серенадам под нашими окнами хвостатых ухажеров Насти – «удочеренной» кошки тети Мары. В молодые годы я долго охотилась за концертным исполнением этого дуэта в Ленинграде, но, к сожалению, без успеха, как и за многими другими вокальными миниатюрами из репертуара бабушки (например, очень драматичный романс-диалог матери с умирающим ребенком «Дитяtko, милость Господня с тобою...» забытого мною автора, «Старинный романс» А.Гурилева, – тот самый, который она пела при поступлении в консерваторию, – или романс Глиэра «Я жить хочу»). Кстати, где-то в нулевых годах я посылала соответствующую заявку на прекрасную передачу Виктора Татарского «Встреча с песней». Тогда мое письмо, оказывается, было прочитано и часть заявки была выполнена, но я, увы, об этом узнала поздно, от случайно услышавшего это профессора Петрозаводской консерватории (Тамары Всеволодовны Краснопольской).

Когда в Ленинграде более-менее утряслись проблемы с жильем (дяде Саше оставила свою квартиру на улице Большой Морской переехавшая в Москву семья чл.-корр. АН СССР Б.Д. Грекова, но в полуразрушенном городе ему заменили ее на холодную мансарду в том же доме), уже ранней осенью дядя Саша приехал за своим «главным тылом», как он называл Сережу с тетей Галей.

И тут я позволяю себе немного отвлечься историческим экскурсом и порассуждать о цепи случайностей, правящей миром и в данном случае в конце концов определившей и маршрут моего жизненного пути. В далеком марте 1917 года, как известно, отрекся от престола император Николай II, и это очень потрясло старшего брата моей бабушки Сашу. Саша воспитывался сначала дома, а потом, как правнук Пушкина, в Императорском Александровском лицее (из Царского Села он тогда

уже переехал в Петербург), при выходе из которого присягал на верность императору. Поскольку образование его было историко-юридическим, к 1917 году он работал старшим товарищем прокурора в Симферополе и второй год был женат на молоденькой красавице Тамаре Михайловне Филатовой (Франческо), у которой первый брак оказался неудачным. Когда Александр Николаевич привез молодую жену в Полтаву к родителям, его отец и мой прадедущка, человек консервативных взглядов, всю жизнь так боявшийся для своих дочерей судьбы раскованных «эмансипэ», видимо, не мог скрыть своего разочарования женитьбой сына и определенной холодности. На этом фоне к ней очень тепло и по-родственному отнеслась моя бабушка, уже мать семейства. Она пригласила молодых к себе в Олефиоровку (а это под Миргородом) в гости, и очень скоро ее дети, среди которых был шестилетний Саша, полюбили «веселую тетю Тамару», как и она их. Отречение императора не только чрезвычайно расстроило, оно буквально потрясло бабушкиного брата Александра Николаевича, который категорически отказался присягать Временному правительству. Не видя смысла в дальнейшей жизни, он застрелился...

Тамара Михайловна очень тяжело перенесла его внезапную смерть. Но молодость взяла свое, и через три года она снова вышла замуж за профессора Таврического университета Б.Д. Грекова, по рождению дворянина-миргородца, что сразу же ей напомнило покойного Сашу. Ее третий брак оказался очень счастливым, родился сын, и семья переехала в Петербург, где шла в гору карьера Бориса Дмитриевича, выросшего в известной историка, специалиста по Древней Руси. Их сыну было уже 6 лет, когда Тамара Михайловна узнала горе бабушки, потерявшей возможность образования своего сына Саши, исключенного из средней школы (после газетной статьи «Кто загрязняет наши школы» о детях бывших дворян, среди которых фигурировал в первую очередь «сын помещика Данилевского»). Муж Тамары Михайловны перед этим сам попал под подозрение в нелояльности к советской власти и даже некоторое время сидел в тюрьме, пока не был вызволен хлопотами своего научного руководителя. Посовещавшись друг с другом, Грековы пригласили уже 16-летнего бабушкиного сына к себе в Ленинград для дальнейшего образования. Здесь он и окончил среднюю школу и даже смог поступить хоть и не в университет, но в тогдашний вуз Институт прикладной зоологии и фитопатологии, который и окончил с отличием. Когда в 1935 году из ссылки он вернулся в Ленинград, Борис Дмит-

риевич, который сам пережил потрясения в связи с Ленинградским «Академическим делом», помог фактически выращенному и уважаемому им Саше Данилевскому устроиться на работу. Война застала моего дядю начинающим преподавателем Ленинградского университета.

Сейчас, философствуя через сто лет после начала рассказанной истории, я чувствую, видимо, по-старчески остро, как судьба трудилась целый век, прихотливо переплетая случайности с закономерностями, чтобы по этой цепи привести меня через моего дядю на мою вторую родину – Русский Север.

Пережить разлуку с тетей Галей и Сережей нам всем помогло ожидание папиного возвращения с фронта. К нему мы готовились. После длинных обсуждений с мамой Коля решил порадовать отца отрывком из пушкинской «Полтавы» (ах, как замечательно он размахивал палкой, когда показывал: «швед, русский колет, рубит, режет») и стихами К.Симонова «Жди меня». Я не хотела уже ничего декламировать, а потому думаю, что к этому времени полностью излечилась от своего дошкольного рвения. Но под руководством тети Мары мы с Колей разыгрывали в лицах басню «Демьянова уха», причем для репетиций она нас зажимировывала, мудро учитывая, что актерский кураж обоих разгорается, а то и полыхает от такой малости, как приделанные пеньковые усы. Вдвоем же с мамой мы готовили специальную программу, где коронным номером было ее пение бетховенского «Сурка» под мой аккомпанемент. В нем мне нравилось все, кроме одной песенной фразы. Как помнится, я недоумевала, какой смысл в третьей строчке:

*Девиц веселых я встречал
(и мой сурок со мною),
Любил я их, ведь я так мал
(и мой сурок со мною)...*

Хотя мама говорила, что «мал», наверное, значит «молод», но мне все равно было непонятно, а потому душа моя протестовала. Еще мы с мамой готовили романс Глинки «Жаворонок», так как его всегда любил папа. С моей же Ольгой Васильевной мы учили к папину возвращению что-то из «Детского альбома» Чайковского.

Все это было после отъезда тети Иры с Галочкой, так как праздничная встреча вызревала уже на Галочкином пианино, переехавшем в нашу комнату, раз тетя Ира в командировке, которая неизвестно еще когда закончится.

В один из октябрьских дней папа вернулся с войны очень буднично и незаметно: просто пришел со

своим вещмешком с вокзала пешком, пока мы с Колей были в школе, а мама дома, так как была сильно простужена. Конечно, радости нашей не было предела. Концерт был отложен до лучших времен, когда поправится мама и отдохнет от долгой дороги в теплушке папа со своей натруженной и, видимо, не совсем долеченной ногой. Помню и большущую банку тушенки, которую он выменял для нас по дороге домой на часы. Их у него оказалось несколько – плата за его умелые руки (и это не преувеличение: например, очень долго у нас хранились действующий миниатюрный замочек с ключиком, сделанные им из монетки). Искусный часовщик, он всегда чинил часы всем, в том числе в госпитале и врачам, и санитарам, и раненым. Как прошел наш концерт, я помню смутно, хотя уже потом, позже, папа время от времени не уставал шумно восхищаться нашей программой встречи. Во всяком случае, помню, как в связи с нею он нас смешил, потешно закатывая глаза, особым образом вытягивая руки со сплетенными пальцами и уверяя: «Ах, я так люблю искусство!» Это, думаю теперь, он вспоминал какую-то из своих ролей в разыгрываемых в молодости водевилях.

После его возвращения с фронта сначала я по своему возрасту не замечала больших изменений в папином поведении, только то, что он стал реже шутить и всегда отказывался говорить о войне, даже по просьбам Колечки. Он сразу же переходил на смешные эпизоды своего детства: как они с Венькой (двоюродным братом) пугали ночью соседей в роли призраков с горящими глазами, держа на палке прорезанную тыкву со свечкой внутри и закрывшись простынями; как с Венькой же бежали в Америку, стащив у деда ведро меда, и т.д. В общем, отвлекал нас. Знаю, что из своих наград (орден Красной Звезды и три медали, за которые отец первое время получал даже какие-то деньги) он больше всего ценил медаль «За боевые заслуги», выданную за то, что его умение хорошо плавать сослужило ему хорошую службу – он первым форсировал широкий Одер с тяжелой катушкой и установил для командования связь. Вообще, тогда он нам доступно объяснил, как зачастую случайно и не совсем справедливо награждают на войне. Во всяком случае, в их полуштрафном батальоне не награждали и не повышали в званиях тогда, когда действительно следовало бы. От наших с Колей расспросов он сразу становился серьезным и всегда повторял: «Война – это грязно и неинтересно, совсем не для детей». О двух причинах своей счастливой участи – остаться живым в этой невероятно жестокой бойне, бабушке и маме говорил очень четко: во-первых, это разум и плечо «Шур-

ки»; во-вторых, никогда и никому не делал того, чего не хотел бы себе, включая противника, всегда помня Коннона. На фронте у него нарастало убеждение, что любое моральное преступление обязательно возвращается бумерангом. Не знаю, рассказывал ли он что-то маме в наше отсутствие. Думаю, да, хотя и далеко не все. Ведь однажды случайно я услышала слова тети Мары, адресованные заплаканной маме: «Ничего, Тусенька, поверь: он еще отойдет!»

И действительно, как только он начал работать в своем пединституте, готовиться к лекциям, охотиться за книжками, помогать главному библиотекарю делать в их полуразваленной библиотеке какой-то важный переучет, то явно повеселел и снова замурлыкал песни по утрам во время бритья. При этом мама смеялась, удивляясь, как это ему удается петь все песни на один мотив.

Из его редких тогдашних разговоров, связанных с войной, мне запомнился тот, который он случайно завел со мной, когда я ему «помогала» развешивать под липой на толстом железном проводе очень тяжелый персидский ковер Янкелевичей – папиных коллег, уехавших в эвакуацию и оставивших нам на хранение свои дорогие вещи. С двумя их тяжелыми коврами (тогда ведь еще слыхом не слышали про пылесосы) очень мучились мама с тетей Галей: сначала эти предметы искусства висели в нашей комнате, бывшем зале, как просили Янкелевичи, потом их прятали в подвале от заинтересованности немцев, но один из ковров из-за сырости пошел пузырями. Пришлось их незаметно выветривать, затаскивать на чердак для просушки и пр. Теперь труд по выбиванию и проветриванию взял на себя папа, который пусть с усилием, но один поднимал даже больший ковер. Тогда он сказал: «Видишь, как хорошо, что твоя мудрая бабушка догадалась их спрятать от немцев, а то что бы мы сказали Янкелевичам, когда они придут? Вот бы опозорились! Думаешь, все немцы такие, как наш Коннон? (Он всегда говорил о нем «наш».) Или тот немец, который предлагал маме за ковер корову? Черта с два!!! Если свои, русские, хапали при случае загибающими руками, даже не понимая, как это потащут! Сволочи! Одно – радость, что война подчищала их в первую очередь! Барахольщики бесстыжие! Мы с Шуркой насмотрелись... Вот один у нас был такой, офицер поганый...» Но папа осекся: к нам в калитку заглянули с каким-то вопросом Лера с Киной.

Я, конечно, в свои то ли девять, то ли уже десять лет не задумывалась о том, почему по-разному возвращались с фронта демобилизованные солдаты и офицеры. Но уже тогда обратила вни-

мание: мой папа после фронта очень настороженно стал относиться к офицерам и всегда интересовался, в каких войсках они служили и какая у них была воинская специальность. Мне даже кажется, что и относился к ним соответственно со своими представлениями о фронте. И еще осталось впечатление, что о самом страшном они с дядей Шурой не говорили ни с кем и никогда. Сам же явно гордились тем, что были пехотинцами, рядовыми солдатами-связистами, которые прошли по дорогам Украины, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Германии пешком, порою по 50 км в сутки и больше. Они хорошо знали, что такое спать на ходу, да еще и с катушкой.

Чтобы уже закончить военную тему, приведу и другие, более поздние наши с папой беседы.

Когда я, уже будучи третьекурсницей Ленинградского университета, возвращалась с зимних каникул, он провожал меня до Москвы, куда ехал к друзьям своей молодости и, главное, к моей второй бабушке, которую я узнала только после войны. В харьковском поезде мы оказались вдвоем в холодном полупустом вагоне, в дальних купе которого гомонили и пели песни, в том числе и фронтовые, какие-то молодые солдаты. Думаю, именно они неожиданно пробудили в моем отце военные воспоминания, которые и попытаюсь воспроизвести как можно ближе к его крепкой стилистике, обычно ему не свойственной.

«Да... Мы бы с тобой, дочка, не ехали сейчас, если бы не Шурка... Например, еще в первый раз... Тогда сволочью оказался один наш офицеришка, дрянной такой лейтенантик. Вообще-то, всегда еще заранее видно, кто есть кто. Всегда он лопал свой паек отдельно, чтоб солдаты не видели. Не то что был у нас... Потапыч, капитан, тот обязательно скармливал свои «деликатесы» больным, всегда чувял таких, кому плохо. А от таких, как этот лейтенантик, Шура был прав: всего жди... И вот как-то в Бессарабии, ближе к вечеру, мы оказались на совершенно открытом поле сразу за речкой. Когда прервалась связь, которую мы с Шуркой как раз и проводили, он послал одного вновь прибывшего солдатику найти разрыв соединения. Тот только начал ползти, как его тут же подкосили выстрелом из незамеченного окопа. Только что был жив, за водой на речку ползал, для всех старался... мальчишка зеленый... хоть бы старика какого выбрал! Можно было совсем немного подождать до сумерек, но этот дурак спокойно послал другого солдата. Конечно, опять убили. Совсем стало ясно: людей по-глупому посылал на явную смерть. Стреляли то ли из одного длинного окопа, то ли из разных. Шурка сказал ему: «Да хватит уже, подожди

темноты!..» А тому – хоть бы хны! Дескать, эй, ты, солдатня, помалкивай! Опять послал связиста – уже третьего!!! Потом, после верной его смерти, увидели точно: все поле простреливается. Не только Шура, весь батальон загомонил, останавливая идиота. И тут он приказывает: «Савельев! Выполняй задание!» Я собрался уже ползти, но Шурка не выдержал и как даст ему по носу, кричит: «Четвертой смерти, гад, захотел?!» А тот побоялся тогда перед всеми связываться, утерся... Сказал: «Светозарова отдам под трибунал!» Но... то ли не до того в ту беспоконную ночь было, то ли перед начальством струсил... А дальше... зря я весь измучился за Шурку, назавтра же этого лейтенантика артиллерийским снарядом убило... Даже синяк не успел зажить... Скорее всего, права твоя бабушка: это его Бог прибрал!»

Тогда же папа рассказал и много других случаев, подтверждавших его теорию бумеранга. Как другой «офицеришка» их полуштрафного батальона требовал обязательно идти по дороге строем, чтобы будто специально представлять собой прекрасную мишень: их колонну на бреющем полете легко расстреливали вражеские самолеты. Сам же он, якобы боевой командир, в это время шагал сбоку, в безопасности под кронами деревьев. Шаг-шагал и подорвался на mine. Или еще случай, когда сдавшийся в плен немец объяснял, показывая на свою медицинскую повязку и жестикулируя, что он только врач, хирург, который вытаскивает осколки, а офицер его не слушал и выстрелил ему в голову, а потом в тот же день еще расстрелял среди пленных ждущую ребенка немку. И что же? Его самого убили очень и очень скоро.

Бурно негодовал мой отец, когда видел развязанные войной стяжательные инстинкты и с неожиданной для его всегдашнего благодушия сердитой брезгливостью обвинял именно «мародеров в офицерских погонах». Когда же я засомневалась и спросила о простых солдатах, он сказал: «Конечно, дочка, они были не ангелами, но их грехи – такие крошечные, ну курицу чужую обезглавят, ну простыню на портянки стянут или пасеку подразорят, а что другое – мы с Шуркой не видели». Однако одну историю о ефрейторе, который в мирной жизни был фельдшером-стоматологом, я слышала раньше, старшекласницей, когда у нас за столом сидели Светозаровы и фронтовые друзья почему-то расслабились и вышли из своего обычного режима молчания. Этот ефрейтор носил с собой в табачном кисете специальный инструмент то ли для вырывания зубов, то ли для снятия зубных коронок и любил при случае «промышлять» после боя, собирая

зубную дань с убитых. Смерть его настигла во время этой «золотой лихорадки»: друзья издали увидели, как его застрелил раненый немец, которого он принял за покойника.

Кстати, в тот день со слов дяди Шуры я поняла, что и он приписывает папе свое выживание на фронте: он говорил, что только благодаря его технической смекалке и на редкость быстрым рукам много раз им удавалось избежать гибели под пулями и осколками, не говоря о помощи при переправах (отец всегда хорошо плавал и на моей памяти уже после войны в разное время спас двух утопающих).

И все-таки в том харьковском поезде, в феврале 1957 года, когда я слушала папины уроки войны, наибольшее впечатление на меня произвел его рассказ без комментариев, просто один бескровный эпизод из этой ужасной бойни.

Беспросветно черная ночь. Ни луны, ни огней. Их колонна связистов который день уже не шагает, бредет по широкому шоссе в незнакомой пустынной местности. Давно не ели, не спали, не отдыхали. Ног под собой давно не чувствуют. Все молчат, многие спят на ходу. Катушки, как я поняла, с ними неразлучно. И вдруг... в абсолютной темноте и тишине раздаются точно такие же изнемогающе шаркающие звуки от встречной колонны. Кто это? Свои или враги? Никто не знает!!! Стрелять? Но в кого? Наверное, и другой вопрос может встать: *з а ч е м?*

И две невыносимо уставших колонны воинов молча расходятся...

Этот символический эпизод, как мне кажется, просто просится в какой-то пацифистский фильм.

Возвращаясь к первому послевоенному году, не могу промолчать о том, что к нам в дом после папиного возвращения с фронта, как и в других подобных случаях в нашем классе, по своей инициативе однажды пришла в гости Анна Яковлевна. Предлогом для посещения было желание познакомиться с «героем войны» и одновременно наконец «ознакомиться» с условиями жизни своей ученицы. У меня в памяти совсем не осталось следов этой домашней встречи, видимо, она была малоинтересной. Но очень показательным для того времени мне кажется сейчас то, что я узнала из более поздних школьных источников. Оказывается, внимание моей учительницы больше всего тогда привлекли в нашем доме совсем не мои родители, не книги/ноты, даже не старинная мебель (осколки которой спустя десятилетия с благодарностью подобрали полтавские музеи) или женский портрет маслом над пианино, бросающийся в гла-

за хотя бы своим размером (кстати, чудесный портрет одной из моих двоюродных бабушек работы ее учителя живописи Леонида Осиповича Пастернака). Нет, ее поразили дорогой ковер Янкелевичей и Галочкино пианино, которые, судя по ее словам, могли обеспечить надолго сытую жизнь всем нам, и якобы эти вещи папа привез чуть ли не с фронта (!). Наверное, и в других домах уцелевших фронтовиков ее более всего интриговала ощутимая конкретика – то, что папа считал страшным позором и именовал «плодами мародерства», следы которого в виде мехов и, как тогда говорили, «мануфактуры» я действительно замечала потом у двух своих одноклассниц вплоть до выпуска. Что это было у нашей Анны Яковлевны: частный ли интерес материально озабоченного человека или отражение определенной реальности, да и духа времени, зараженного вредоносным вирусом? Сейчас мне трудно судить об этом.

Ужасный сорок седьмой...

Два послевоенных года оказались невероятно тяжелыми не только из-за последствий войны и разрухи, но и из-за катастрофичной засухи и общего неурожая в 1946 году. Особенно это коснулось всего черноземья и Украины в первую очередь, в результате чего уже с осени там стала нарастать массовая голодовка. В Полтаве ели тогда все, что только напоминало еду: макуху (жмых из перемолотых семечек подсолнечника, особенно противен застаревший), отруби, какое-то сборное продаваемое на рынке «людьскэ сино», а весной – почки черной смородины и липы, крапиву, лебеду, траву мокрицу, ботву моркови и свеклы, листья одуванчика и т.д. Все это ели и как салаты, и как овощные супы, и в смеси с мукой, и сушили на зиму. Жмых и отруби тайно или явно подмешивали в хлеб, который выдавался по карточкам. Или нормы были все же несопоставимы с блокадными в Ленинграде, или я не помню их колебаний, но у меня в памяти почему-то засело «кило шестьсот» на нашу семью из четверых. Не исключаю, что давали сразу на два дня. Нельзя сказать, чтобы государство не помогало: работали какие-то специальные столовые для иждивенцев, которые назывались «пунктами питания», обеды там выдавали по талонам. Я была прикреплена к подобному пункту от папиной работы и ходила пешком очень далеко, за Корпусный сад, например, ради маленькой тарелочки фасолевого супа без хлеба и двух ложек вермишели с яйцом. Коля был прикреплен к другому пункту, много ближе. Как обеда-

ли тогда мои родители, мы и не видели, и помню, я даже лила слезы, когда папа, сильно исхудавший и еле державшийся на ногах, не поверил, что я наелась, и не хотел брать мою горбушку. Хорошо, что бабушка самый свирепый период, зиму 1947 года, пробыла в Ленинграде, в семье дяди Саши.

Мы эту зиму пережили, как всегда говорила мама, только благодаря посылкам. Во-первых, по возможности регулярно присылала нам кукурузу Марина из Дзауджикау (тогдашний Владикавказ), где она нашла в госпитале почти умирающего от ран и дизентерии дядю Ваню и выжила его. Наш отец тогда искренне был уверен, что ничего вкуснее мамалыги не едал в своей жизни. Во-вторых, несколько очень калорийных посылок пришло из Ленинграда, причем не от наших Данилевских, которые сами еле сводили концы с концами (ведь тетю Галю десять лет не брали на работу из-за пребывания в оккупации), а от двоюродной маминной сестры по отцу тети Аннуси и, главное, ее мужа – прекрасного человека и ученого-радиохимика Иосифа Евсеича Старика. Он всего лишь заподозрил, что в Полтаве его дальним родственникам было несладко.

Некоторые эпизоды взаимовыручки даже в это ужасное время, когда в Полтаве многие пухли от голода и был настоящий разгул послевоенного бандитизма, дистрофии и порой уличных смертей, забыть просто невозможно. Как тетя Валя Окунева буквально уговаривала мою маму взять у нее ведро картошки, трогательно расхваливая свой «богатый» урожай с крошечного огорода в тени очень раскидистой груши; как мать Виты, работавшая на железной дороге и привозившая откуда-то продукты, рано утром прибегала и совала через нашу дверь с цепочкой какие-то съестные свертки, боясь нас разбудить и слышать слова благодарности; как Тамара Петровна присылала издалека свою племянницу чуть постарше меня с тем, что «нам Бог послал, а вам нужнее». Наверное, и наши родители старались помочь тем, кому особенно плохо, раз не только наша тетя Мара так считала, но и тетя Паша Хоменко потом говорила бабушке, что без мамы не выжила бы. Да и не она одна, так как у папы всегда были «крестники» из детей сослуживцев. Но, разумеется, и тогда тоже люди жили по-разному.

Так, в наш коридор, ставший коммунальным, выходила одна из «институтских» комнат, где поселилась очень колоритная и уже немолодая супружеская пара: высокий, плотный и совсем седой полковник и его моложавая черноглазая жена. Теперь понимаю, что это был тот типичный случай социального лифта, о котором как обычном вари-

анте в Красной армии 30-х годов размышлял маршал Г.К.Жуков. Бывший бухгалтер и красный политрук, Владимир Александрович романтически «умыкнул» свою красавицу «Марусю» из казачьей станицы в 16 лет, детей у них не было, и всю жизнь Марья Тимофеевна ездила за ним по воинским частям, даже не делая попыток учиться или работать, но тщательно следила за собой и гордо держала марку «супруги полковника Малинина». К счастью для них, тогда еще он не был демобилизован и, видимо, получал достаточно весомое денежное содержание. В самую жуткую голодовку общительная Марья Тимофеевна приносила с рынка живых кур, о которых не очень осмотрительно всем встречным знакомым объявляла: «Вот, глядите, несу котлетки для полковника Малинина». При этом всегда носила этих несчастных пернатых в сетчатых авоськах и оставляла на стуле в коридоре перед своей дверью. Но курам в преддверии казни не молчалось, и они понемногу начинали кудахтать, причем это нарастающее кудахтанье, а потом и сводящий с ума аромат бульона или котлеток разносились не только на весь наш дом, но и на весь двор. Голодному народу из наших соседей оставалось только вдыхать давно позабытые запахи и бурчать что-то вроде: «Опять покушает полковник Малинин за всех нас». Сама же Марья Тимофеевна вела себя очень комично. Она время от времени выглядывала в коридор и уговаривала будущую жертву: «Погоди, курочка, погоди, милая, сейчас, сейчас я тебя зарежу!» Ее успокаивающие слова так смешили папу, что он тут же расширил свой педагогический репертуар: стал ими страшать проштрафившегося Кольку наряду с ремнем, о котором обычно грозно вспоминал: «Где мой Песталотци?» (Отец справедливо подозревал, что Коля о таком педагоге – противнике насилия не слыхивал, и брат долго простодушно считал незнакомое слово чем-то вроде синонима ремня.) Конечно, куриных котлеток никому, кроме полковника, никогда не перепадало, а вот на забракованные куриные останки и щедрые картофельные и прочие очистки Марии Тимофеевны претендовали многие, а потому зорко караулили ее пищевые отходы, однако все же стесняясь этого и стараясь не попадаться на глаза соседям.

В поле зрения нашей семьи оказался и другой пример безбедного существования и в тот голодный год тоже. По непонятной мне тогда причине, это стало почему-то моральной проблемой моей бабушки. Во всяком случае, я слышала, как она обещала Борису Николаевичу поговорить со священником и молиться за них. Наш сосед Борис Николаевич, или «Борюсик», как его громко кап-

ризно звала через стенку жена Клавдия Степановна, был нам хорошо знаком, так как любил петь с бабушкой и постоянно прибегал к нам с другого конца дома со своим непредсказуемым примусом (его понимала лучше всех моя мама) или с какими-то секретными разговорами, сначала – к маме и тете Гале, а позже и к возвратившемуся с фронта папе. Я только слышала в сердцах сказанные нашим соседом слова: «Но не хочу я купаться в масле!» или: «Но не могу я все время жить на вулкане!» «Господи, да как же разрушить их тандем?» Один раз я даже заметила явно красные глаза встревоженного Бориса Николаевича. На мои вопросы об этом мама говорила, что у него проблемы с женой, но это не должно меня интересовать. Жена его никогда к нам не приходила, в отличие не только от мужа, но и от собственной сестры, общительной и очень упитанной для этого времени Полины Степановны, живущей неподалеку и приехавшей вместе с ними и со своей семьей из Черновиц. Она постоянно туда ездила и говорила, что «за мануфактурой», потому что была, как тогда говорили, «модисткой» женской одежды. Помню, мы с Колей терялись в догадках по поводу секретов Бориса Николаевича, который даже в голодовку категорически не хочет быть «сыром в масле». Уже взрослую, меня на этот счет просветила тетя Галя: «Да ты что, до сих пор не поняла? А как же те женщины, которые часто разыскивали Клавдию? Она ведь была гинекологом и занималась частной практикой! Полина еще ей этих пациенток регулярно поставляла... Мужья обеих были в ужасе, да где им, подкаблучникам, было обуздать корысть сестричек? Одна – махровая спекулянтка, другая – продавала свои строго запрещенные тогда операции, и, говорят, по бешеным ценам! Но потом ведь обе эти семьи распались... Мужья не выдержали...»

Да, предприимчивый народ выживал по-своему, порой ходя по лезвию ножа. Сейчас понимаю, как жаль было бабушке Бориса Николаевича, не просто славного человека, а, как оказалось, еще и выросшего в семье униатского священника и искренне страдающего за грехи своей жены! Советское общество, несмотря на громкую казенно-атеистическую риторику, было более консервативным, патриархальным и, может быть, даже викторианским, чем ныне, и глас народа однозначно осуждал тогда подпольные детоубийства.

И все-таки в наше время, когда даже один из столпов Российской академии наук в эфире центрального канала (программа Сергея Брылева) сетует, что в современном обществе недостаточно востребованы знания, мне приятно на душе, что хотя бы в прошлом в нашей стране торжествовала

справедливость и приоритет знаний. В голодном 1947 году самыми обеспеченными оказывались люди, представляющие собой действительно золото нации, честно взошедшие на вершины социальной лестницы и признания, – нет, не тем, что ловко срывают с уст зрителей усмешку, не безгolosым и назойливым верчением в ящике телевизора, не удачной скупкой и перекупкой ценных акций, а исключительно своими яркими успехами, мощным интеллектом, развитым многими бессонными ночами и напряженным трудом мысли. Это мне видно не только в случае с учеником академика В.И.Вернадского чл.-корр. И.Е.Стариком, чьи «Основы радиохимии» переводились на английский, немецкий и японский языки. Так, в 1968 году приехал в Полтаву повидаться с моей бабушкой и ее детьми, то есть со своим детством и семьей, которую считал для себя взлетной площадкой, академик Владимир Николаевич Челомей, один из создателей ракетной техники и космонавтики СССР, четырежды лауреат государственных премий, пятикратный кавалер ордена Ленина, дважды Герой Социалистического Труда и т.д. Он, кстати, учился в моей Полтавской школе, еще до раздельного в ней обучения (см. ЖЗЛ: Н.Г.Бодрихин. Челомей. М.: Молодая гвардия. 2014). От бабушкиных рассказов о 1947 годе он пришел в ужас и сказал, что тогда уже он твердо стоял на ногах, потому что научные работники-конструкторы обеспечивались государством в полной мере, и он был бы счастлив помочь нашей семье в те годы.

Сейчас, когда пишу эти строки, невольно сопоставляю психологию и свою, и своих близких в этот «ужасный сорок седьмой» и вспоминаю общее ощущение страшного унижения голодом. Не допустить, чтобы посторонние заметили зверский голод, не потерять человеческое лицо – об этом все время и я старалась изо всех сил, хотя, разумеется, меня так никто из старших не учил.

Тогда в голодной Полтаве ходили упорные слухи, что обнаружены бандитские притоны в развалинах и что там убивали людей и даже изготавливали пирожки с человечинной. Причем указывали на конкретные дома, как, например, разрушенное и не разобранный еще здание бывшего театра имени Гоголя (позже кинотеатр им. Котляревского), задняя часть которого смыкалась со школьным двором. Такая информация, чуть ли не поддержанная нашей Анной Яковлевной, наполняла ужасом воображение девчонок, боявшихся даже выходить на большую перемену. Много говорили также и о ночных разбойничьих налетах на жителей частных домов, которые доверчиво открывали запоры на знакомые голоса,

за что легко расплачивались жизнями. Думаю, далеко не все слухи были ложными, так как тогда увидеть на обочине дороги распухшее от голода тело не было событием, а до крайности голодный человек легко становится зверем.

И вот в такой-то напряженной обстановке к нам с улицы глухой и на редкость морозной ночью раздался стук в зарешеченное окно и женский всхлипывающий возглас «Помогите!». В доме из мужчин были только папа и полковник Калинин. Папа и решил, что им будет достаточно безопасно: ведь у него был молоток, а у соседа оружие! Но поднятый с постели вояка Владимир Александрович испуганно и категорически отказался участвовать «в этой безумной затее» (папа потом шутил, что из его «офицерских кальсон» тут же «пошел дух от котлеток»). Что делать, он решил сам: вылез в сад через лаз в подвале и тихонько разведдал, кто там под окнами. Оказалось, действительно одинокая немолодая уже женщина, врач инфекционной больницы напротив, у которой двое неизвестных отобрали пальто и теплый платок. Она возвращалась со срочного вызова домой, достаточно близко, торопясь к больной и старой матери. Если бы не вовремя подоспевшая помощь, она бы просто замерзла, а так ее все же как-то отогрели, закутали, провели до дома.

А я была разочарована: как же, еще недавно Владимир Александрович помогал мне придумывать и рисовать плакат от нашего пионерского звена о выборах блока коммунистов и беспартийных (папе было некогда), он так радовался, что растет смена «нам, старым большевикам», и вот... Однако очень скоро мой отец простил ему его пугливость, искренне жалая старика, когда за год до получения полковничьей пенсии его неожиданно демобилизовали. Марья Тимофеевна, на удивление быстро отбросив былую вальяжность, бурно рыдала в общем коридоре, сидя на «курином» стуле под своей дверью. Хорошо хоть, что потом его устроили работать в банке.

Весна 1947 года, конечно, была очень трудной. Тогда-то я и попробовала впервые салаты из почек липы и черной смородины – блюдо вполне съедобное и полезное (кстати, много позже вычитала в одном старорусском лечебнике о вареньях из этих почек, которые с удовольствием ели наши предки), но уже летом народ стал понемногу отходить от голода.

В то лето наконец я увидела своего Сережика и еле его узнала в голом краснокожем индейце, украшенном цепями из желтых водяных кувшинок. Прежнего Сережку выдавал только льняной кудрявый чубчик на слишком беспощадно острижен-

ной голове. При этом еще я с огорчением заметила, что на смену его прежней малышовой робости пришли мальчишеское ухарство и обидная для меня самодостаточность, увы, хорошо знакомые мне по старшему братцу. Правда, я тут же про себя возложила вину за это на других. Его явно забаловала целая орда студентов-биологов Ленинградского университета, проходивших практику в старейшем, еще со времен Петра I, лесостепном заповеднике «Лес на Ворскле», расположенном в Белгородской области. Я сразу же определила из них трех-четыре девушки для своей ревности. Какое-то время этим университетским заповедником (во всяком случае, в сезонный период) заведовал дядя Саша, который и пригласил в Борисовку всю нашу семью повидаться, тем более что здесь работала столовая для студентов, вполне приличная и недорогая. Было грустно, что Сережка уже совсем был другой и я теперь не «больно нужна», когда вокруг еще и ватага детей сотрудников приблизительно его возраста и они все целыми днями плещутся в заросшей кувшинками речонке.

А потому в самое пекло я засела в нашей общей дощатой продувной хате, найдя на подоконниках стопки интересных книг, происхождение которых поняла не сразу, а только после знакомых росписей «Н.Старицкая» на самых редких из них. Конечно, эту подборку книг привез сюда для студентов дядя Саша. Там я впервые прочла чудесные записки Аксакова об охоте, рыбалке, о собирании бабочек и изданные для детей рассказы о животных Сетона-Томпсона, занимательно-сюжетные, написанные с огромной любовью к дикой природе. Если подборки рассказов Чехова, Куприна или «Белый клык» Джека Лондона и пр. мы с Колей хорошо знали к этому времени, то роман Лондона «Майкл, брат Джерри» я здесь с восторгом и слезами прочла впервые. От книг меня с трудом «отколупывали» (выражение моей тетушки) тетя Галя с мамой, чтобы сводить в студенческую полупоходную столовую, где я взахлеб пересказывала им свои очередные впечатления, торопясь поскорее проглотить еду и бежать обратно. Почему-то не помню жующей мужской половины семейства и подозреваю, что все четверо целыми днями пропадали на речке или в лесу, со студентами или без, обходясь походными условиями. Так и осталось в моей памяти: я получила экобиологическое образование в университетском Борисовском заповеднике, да еще и в бывшем частном владении графа Шереметева, хотя и просидела почти весь срок в дощатой избушке.

Для моего родного братца Борисовка оказалась

раем небесным. Если он не сидел рядом с папой, заядлым рыбаком, с удочкой, то носился по всему заповеднику впереди студентов, к изумлению и даже восхищению дяди Саши, показывая и разъясняя им, в каких местах, под какими деревьями и когда водятся такие-то жучки и такие-то бабочки. Дядя Саша тогда и сказал, что Коля – прирожденный биолог и не стоит его ориентировать на что-то другое. Действительно, все мое детство в нашем доме постоянно сменяли друг друга то собака Тузик, которую застрелил эсэсовец; то ежики, которые чуть ли не сами заползали в сад к Коле в руки, чтобы пожить немножко в его любви и заботе; то кролик Зая, которого он аккуратно кормил морковкой и капустой, пока у нас хватало корма, потом его под всхлипы Коли отдал деду Мыкыте; то чудесные игрушечные Микины козлята; то перепелочка, у которой была повреждена лапка и которую потом он выпустил на волю; то угод, в которого Ленька Бука нечаянно попал рогаткой; то полевая мышка и т.д., всего не упомнить. Почти два года у нас жил кобчик Коба, совсем ручной, которого легкомысленно отпускали погулять, и он, немного потеряв близости, садился на ветки высокой старой липы или на крышу, а на зов «Коба, Коба» спускался на плечи брата. Не помню, как он оказался у Коли. Но его пребывание у нас совпало с голодовкой, когда обеспечивать несчастную птицу мясом было очень и очень проблематично. Как ни старались находить для него корм (Коля приносил ему то кузнечиков, то стрекоз, то майских жуков), как он сам ни пытался зорко выглядывать воробьев, а однажды даже стащил у Марьи Тимофеевны куриную голову из миски, он умер у папы на ладони декабрьской полночью 1947 года, скорее всего, от неправильного питания. Умер под наши горькие слезы...

Дяди Сашино признание Коли как натуралиста своим прямым следствием имело то, что папа пообещал ему разрешить снова завести собаку, о чем тот до этого только мечтал. И действительно, как только вернулись в Полтаву, у Коли появился замечательно чистенький щеночек-дворняга Джек, как определил наш папа, «цвета соснового полена», и при этом с блестящими и черными, словно бусинки из мамино ожерелья, глазами.

Осенью же папу в связи со смертью его отца срочно вызвали на родину, в город Скопин Рязанской области. Своих дедушку с бабушкой с папиной стороны я совсем не помнила, хотя и сохранились наши довоенные совместные фотографии. К своим десяти годам я знала, что дед никогда не одобрял папиного брака, попролетарски глубоко презирая «голубую кровь» и не прощая маме, что она «погубила нашего

Володьку», который якобы только из-за нее вынужден был расстаться с Москвой. Здесь, наверное, уместно сказать, что в силу своего кругозора мой дед так до конца и не понял драмы своего сына, который после окончания московского вуза был назначен на место завуча школы НКВД, где училась, кстати, и Светлана Аллилуева. Там же в 1938 году стала работать «Лесная школа НКВД», для преподавания русского языка в которой привлекли и моего отца, хотя он и был беспартийным. Очень скоро мой отец понял истинное назначение этой «школы» (подготовка заграничной резидентуры, отсюда и более позднее название – Академия внешней разведки), куда вначале собрали студентов разных специальностей 3-4 курсов. Шантажируемый дворянскими истоками жены, да еще и после бесед со своим студентом-скрипачом, насильно мобилизованным из московской консерватории, отец не исключал такой же для себя участи, совсем не чувствуя к этому призвания и, разумеется, не желая оставаться в самопожирательной системе. Оттого он и воспользовался предлогом тяжелой болезни моей матери (она действительно со своим прободным аппендицитом долго находилась при смерти в институте Склифосовского), чтобы вырваться из Москвы.

Сам Аким Сергеевич был чертежником, притом неплохим, судя по тому, что в связи с Парижской выставкой 1913 года заработал такие деньги, что, по словам папы, спился и для бабушки и их четверых детей стал неузнаваемым. Однажды после какой-то физической расправы с 8-летним Володей она, очень любившая его, для отрезвления мужа скрепя сердце отдала сына на воспитание своей сестре – молодой учительнице, которая только приступала к работе в скопинской школе. Папа рос и воспитывался тетей Олей больше 4-х лет, пока она не умерла от тифа, что стало для него первой жизненной трагедией. Когда он вернулся к родителям, отец стал к нему относиться хотя бы уважительно, иногда не без ехидства подсмеиваясь над его приобретенной «культурностью» и даже величая на «вы», а мать не чаяла в нем души, впрочем, как и он в ней. Он сам признавался, что в детстве дрожал по поводу ее здоровья, больше всего боясь ее смерти после потери тети Оли. И вот отец, суровый, но, как говорил папа, все же справедливый, скончался внезапно, и рядом с ним оказался только младший сын, инвалид войны, так как папины сестры были далеко: одна, учительница, с мужем и детьми – где-то в Тамбовской области; другая, самая старшая Зоя, геолог, – далеко в Монголии. Уезжая после похорон, папа ос-

тавил свою мать и дядю Колю в полной растерянности, как строить жизнь дальше, и в нетерпеливом ожидании деловитой и решительной Зои.

Когда же в декабре 1947 года была отменена карточная система и денонмированы деньги, тут только папа узнал, что по настоянию Зои они продали свой скопинский дом, чтобы купить какое-то жилье в Москве, но все эти деньги в ходе реформы у них почти сгорели, так как уменьшились сразу в десять раз! Если у реформаторов были благие намерения ударить по массовой спекуляции, то в этом случае, увы, удар пришелся явно не по адресу, а по наименее приспособленной к практической жизни семье.

И все же они как-то исполнили свое желание переехать в столицу, купив половину (удивительно, но так тогда разрешалось) большой комнаты в подвале на Таганке. Но, по словам моей бабушки Прасковьи Николаевны, окончившей три класса церковно-приходской школы, «Бог нас хранил и назначил в соседки» одинокую милую женщину, с которой они потом сроднились и даже плакали при разезде, оставшись на всю жизнь близкими людьми.

Прощай, начальная школа

В 1948 году мы все успели побывать у скопинской бабушки еще на Таганке, причем застряли там надолго, пока не закончили нам делать прививки в живот от бешенства. Дело в том, что бедный маленький красавчик Джек, от души цапававший нас с Колей, чуть ли не сразу после нашего отъезда был замечен в подозрительно агрессивном поведении и признан ветеринаром бешеным, а потому нас с братом заставили на всякий случай терпеть эти уколы. Коле же сказали, что Джека забрали лечить в специальную больницу для собак. Хорошо, что московские музеи тогда вовремя отвлекли нас от его неожиданно трагической судьбы.

Папа в своей Москве, где, по его словам, «он знал и любил каждый камушек», был постоянно занят, и в музеи нас с мамой и братом водил дядя Коля. Будучи художником не столько по образованию, сколько в душе и для себя (впрочем, для себя он не только неплохо рисовал пейзажи, но еще и на скрипке играл в самостоятельном симфоническом оркестре, поразив меня неожиданными савельевскими генами), а также по практической работе в мастерской при кондитерской фабрике, он повез нас в центр в Музей изобразительных искусств. Это позже уже я узнала, какой замечательный замысел осуществил в нем его основатель про-

фессор И.В.Цветаев, но все это тогда было, увы, не про нас. Оказалось, что там открыта лишь выставка подарков Сталину, которая по-своему поразила меня. Там были представлены его портреты зерном, колосками, разными камешками, в том числе и драгоценными, вышитые гладью и крестиком, большущие и малюсенькие ковры и гобелены с его изображениями, отпечатки фотографий на стекле, керамике, фарфоре, золоте, серебре, бронзе... Как много человеческого труда во всех концах страны было потрачено! Даже в тогдашней пионерской душе моей эта выставка вызвала осуждение. Дураки, зачем это ему? Лучше бы подарили самые-самые интересные книжки! Или самую-самую лучшую собаку, как мечтает Коля! Мне было понятно, почему все это из своего Кремля он выставил, отсюда и название – выставка. Но оставаться долго под тиражированными глазами генералиссимуса явно было не по себе, мы все поспешили уйти, и помню, что я даже пожалела сидящую на стуле хранительницу.

В тот длинный экскурсионный день нашего Колечку более всего потряс Исторический музей, где его невозможно было оторвать от разного неинтересного мне оружия и вообще воинского снаряжения вроде кольчуг и лат, и я совсем не понимала, откуда эта его тяга, и даже пыталась ворчать и возмущаться: «Разве это интересно, чем отличается мортира от пищали?» Но мама и дядя Коля восприняли его историческую любознательность спокойно: «Ведь он же мальчик!» И папа слушал потом его с интересом и говорил, что это очень важно для общего развития, а мне должно быть стыдно, что меня занимает не важная часть истории страны, не чудесная архитектура в стиле XVI века, а какие-то глупые подарки Сталину.

Помнится, и борисовское лето, и потом московское укрепили во мне твердое представление о счастье. Счастье – это когда все живы-здоровы и едят вдоволь, а я – царица, если имею замечательную возможность читать, читать, читать то, что я выбрала сама, притом желательно лежа в приятной прохладе, не отрываясь на мытье посуды, уборку, походы за керосином в ближайшую лавочку и прочие ненавистные мне дела. Я даже размышляла: «Какой глупый Колька! Он хочет быть директором зоопарка. Конечно, это интересно возиться со зверями и птицами, ну а читать-то когда?» И крепко задумывалась: какую же специальность мне надо выбрать, где чтение было бы главным занятием. К тому времени уже знала: явно не библиотечарскую, потому что у мамы в школе среди книжных полок блаженствовала без отрыва от чтения я, но не мама, которая служила мальчиш-

кам, помогая им выбрать книжку или незаметно навести каждого на обсуждение прочитанного.

В общем, беззаботное и бесцелое духовное потребление в чистом виде просто захлестывало меня в ребячьем и подростковом возрасте. В начальной школе в своем свободном заоблачном парении я читала запоем и всякую всячину, даже смешно теперь, что в один неучебный день у меня могли встретиться «Братья-разбойники» Шиллера и русские богатыри из «Онежских былин» Гильфердинга (в редчайшем издании), Леночка Иконина из «Записок гимназистки» Л.Чарской с богами и героями проф. Н.А.Куна («Что рассказывают древние греки и римляне о своих богах и героях»), арабские сказки «Тысячи и одной ночи» чередовались с пионерскими повестями А. Мусатова, В.Осеевой, Н.Носова, «Дикая собака Динго» Фраермана – с «Дубровским» и «Неточкой Незвановой» и т.д. до бесконечности. Если в папиной библиотеке практически не было читабельного мусора, то я его легко подцепляла в других местах: в двух школьных библиотеках (своей школы и маминной, маме было некогда всматриваться, что я там беру с полка: лишь бы ставила все по местам), даже просто у нас на чердаке в разрозненных приложениях к «Ниве». Все это зажигало, обеспечивало языки пламени, а иногда и просто раздувало в пожар детское воображение. Как же весело я хохотала, читая и перечитывая свои любимые малороссийские повести Гоголя, как обильно проливала слезы над превратностями судьбы Флоренс и ее несчастного братика («Домби и сын» Диккенса), а также мальчика Реми («Без семьи» Г.Мало), как буквально проваливалась в сладостное бытие сказочной жизни арабского Багдада, как ночами зачитывалась приключениями французских авторов, не только Г. Мало, но и В. Гюго, Жюль Верна, позже – Жорж Санд, полностью переместившись во времени и пространстве, буквально проживая чужую жизнь, ее драмы, взлеты и падения.

Сейчас даже не верится, как легко возгоралось воображение уже от одного названия, которое действовало словно спичка, поднесенная к керосину. Так теперь меня не может не смешить непреодолимое, просто жгучее желание поскорее прочесть «Всадника без головы» Майна Рида, за которым я длинный-длинный месяц стояла в очереди, просто умирая от нетерпения.

Поэтому, наверное, сегодня смотрю на современных детей, свободное воображение которых жестко сковано динамическими картинками ТВ или компьютера, явно с жалостью. Нет, лучший друг человека – все-таки книга!

Только ее можно посмотреть и отложить, лениво

перелистать, проглотить в один присест запоем или же читать восхитительно медленно, делать для себя пометки, чтобы потом к этому месту, а если и повезет, то именно к словам, вернуться. Конечно, лучшая книга – та, к которой возвращаешься вновь и вновь. Она проверена временем, возрастом. Она не обманет и приведет в гармонию любое расположение твоего духа. Господи, какое тут может быть сравнение с техникой?! А новая замечательная книга... Это же праздник мысли, пир воображения и настоящие «именины сердца»!!!

Очень странно, но совсем не помню в начальной школе, чтобы наша Анна Яковлевна замечала или просто обсуждала домашнее чтение моих одноклассниц, тем более начитанность кого-либо из нас. Может быть, она считала достаточным изредка обновлявшийся «Уголок книголюбца»? Или думала, что все дети увлекались чтением, раз других соблазнов для ума и тем более воображения не было. А может, это просто считалось сугубо частным делом и мало кого интересовало. Конечно, я старалась обновлять классный «Уголок книголюбца», но очень тяготилась им, так как, кроме моих дежурных отзывов, других было мало: с трудом уговаривала написать туда даже совсем краткий отзыв. Девочки читать читали, а вот писать ленились, тем более, что это не было в зоне особого внимания Анны Яковлевны.

Но в классе Анна Яковлевна требовала всегда чтения осознанного и достаточно быстрого, раз оно обязательно должно было быть выразительным. И у нас находилось не более трех девочек, которые с этим не справлялись. На дом давались задания не просто прочесть, а составить план прочитанного. Каждый абзац надо было озаглавить, то есть уловить главную мысль и тем самым выделить звено в развитии общей темы. Анна Яковлевна, проходя по рядам, только взглядывала на план и моментально оценивала, что понято и насколько. Особенно бывала довольна, если использовались не слова из текста, а удачные синонимы. По мере расширения текстов звеньями служили уже не абзацы, а какие-то более крупные подразделы. Такие требования приучали выделять главное и учили нас всех учиться, следить за развитием мысли, воспитывали дисциплину мышления и в конечном счете вообще вводили в режим умственного труда. Поэтому считаю, что мне крупно повезло с первой учительницей из-за ее несомненного профессионализма.

В отношении же нашего «политического образования» она, думаю, все же не была особенно озабоченной. Октябрятами мы, кажется, и не были. В третьем классе нас приняли в пионеры без особо-

го пафоса на школьной линейке. Сам акт приема я не запомнила, но вот проблему платья и красного галстука для этого помню. Платье мне сшили из Марининой гимнастерки (ломаю голову, как она у нас оказалась), и я его не любила за его жесткость. Я робко мечтала о шелковом галстуке, но такая роскошь была только у Раи Спекторовой. У меня же, как и у всех, был простой хлопчатобумажный, у которого постоянно закручивались кончики, а это мне крайне не нравилось.

К чести Анны Яковлевны, совсем не помню ее каких-то пустых требований соблюдать пионерскую униформу. На сохранившейся фотографии этого времени у половины одноклассниц галстуков нет вообще. Впрочем, с самого начала она проследила за тем, чтобы правильно, с ее точки зрения, были распределены все «пионерские портфели»: председателем совета отряда стала Рая Спекторова, а во главе каждого из трех звеньев она назначила звеньевых, в том числе Леру и меня. Нам надо было сделать на рукаве по одной красной нашивке, председателю – сразу две. Лерино первое звено отвечало за «тимуровские дела», второе (Риты Довгаль) – за чистоту, а наше, третье, – за оформление класса. Моя работа вылилась в какие-то праздничные стенгазеты (папа и Коля обычно помогали своими рисунками, а меня научили легко увеличивать картинки с любой открытки с помощью карандашных квадратиков) и «Уголок книголюбца», куда я переписывала выпрошенные у своих одноклассниц впечатления о том, что они читали. Достать полуватман или тем более ватман тогда было невозможно, и мы трудились над тонким белым листом, который часто не выдерживал манипуляций с карандашом, резинками, красками, чернилами и натиском моей пионерской груди, и тогда со слезами я это все переделывала, горько сетуя на свою долю.

Лерино же звено жило яркой общественной жизнью. Они где-то раздобыли барабан и горн (большая редкость в те годы), брали у старшей пионервожатой знамя и с боем маршировали по периметру школьного двора вместо уроков физкультуры. Говорили, что готовятся к ежегодному майскому мероприятию – 26 мая был день рождения трагически погибшей полтавской партизанки-подпольщицы Ляли Убийвовк, окончившей нашу школу. Правда, я не помню совсем их участия в школьных митингах, но одна из вспышек моей памяти – множество народа во дворе и утирающая платком глаза Анна Яковлевна. Еще Лерино звено ходило по домам и собирало, к сожалению, выпрашивая, вещи в помощь инвалидам войны, а самое интересное для меня – они наве-

щали раненых в госпиталях, где «давали концерты». Впрочем, судя по тому, что и я присоединялась к ним, так называемые концерты быстро стали полем деятельности всех «артисток» нашего класса. Обычно мы ходили вдвоем или втроем в госпиталь около Монастырской улицы, почти рядом с папиным пединститутом. Мы развлекали раненых рассказами о своей жизни и пели песни по их заказам: «Эх, дороги...», «Землянка», «На позицию девушка провожала бойца», «Темная ночь», «Соловьи, соловьи...», «С берез неслышен, невесом...» и множество других прекрасных фронтовых песен, которые даже в нашем с Лерой ужасном исполнении вызывали благодарные отклики и просьбы приходить еще. Какое-то время, например, меня ждал раненный в ноги учитель дядя Юра и говорил, что я пою очень хорошо, а моя бабушка, об огорчениях которой по поводу моего голоса я немного рассказала, просто мало меня слушала. Он сам любил подпевать вполголоса, и мы неплохо вместе пели бетховенского «Сурка», которого я готовила на пианино к папиному возвращению.

Вообще, лет до одиннадцати-двенадцати общественная работа полностью ассоциировалась у меня с учением, я просто считала ее неременной частью официальной школьной жизни, которая должна отличаться от повседневной домашней. Как ни странно, различия в подходах я стала понимать благодаря Лере, которая явно вкладывала разную степень энтузиазма в отношении к общественной нагрузке и к учению, хотя училась она всегда хорошо и ровно. Мы с ней могли спокойно опоздать на урок, но, боже сохрани, не на линейку; она никогда не могла пойти в школу без пионерского галстука, приходя в ужас от моей забывчивости; когда же мы переступали порог госпиталя, прежде всего она задорно здоровалась с медсестрами и ранеными: «Пионерский салют!», вскидывая руку в официальном приветствии, хотя обстановка явно не всегда для этого подходила и люди, бывало, даже вздрагивали. Во всяком случае, я почему-то стеснялась так представляться.

Однажды по пути из школы мы с Лерой встретили мою бабушку, которая на мой вопрос: «Ты куда, бабушка?» ответила: «В церковь, на вечернюю службу». Лера неодобрительно поджала губы, а потом и говорит: «Ты же пионерка, беги и верни ее». Я засмеялась, представив себе совсем другую бабушку, которая возвращается обратно из-за моего запрета. В ответ Лера вспыхнула и сказала: «Вот с этого все и начинается». – «Что всё, Лера?» Но она только упрямо замолчала...

Дома я наш разговор выложила первому, кто

встретился. «Папа, чего это она?» И тут он впервые меня немножко просветил: «Дочка, ты будь от Леры подальше. И, конечно, поосторожнее. Мало ли что она придумает. Знаешь, говорят, это из-за ее отца сгинуло или сидят несколько преподавателей строительного института. А грузовик, о котором талдычат соседи? Ведь я знаю, что за этим стоит. Как жаль, что его дочка с тобою в одном классе!» Я охнула: «Так вот отчего у него мохнатая шерсть по всему телу! Лидя Окунева правильно говорила: надо присмотреться!» Папа тогда очень смеялся и стал восхищаться моей подружкой Лидой, посетовав, что она в другой школе. Даже пообещал уговорить тетю Валю перевести ее в нашу школу. Не помню, почему с этим у нас не получилось.

То, что четыре класса начальной школы явно обозначили этап в моем взрослении, поняла не сразу, а только с годами. Не могу не поклониться памяти своей первой учительницы, которая действительно научила меня учиться. Кроме того, она ведь приучила меня, совсем зеленую девочку, держаться стойко при любых изменениях своего руководящего настроения, в том числе и зависимых от всякого рода негативных факторов. Конечно, она не была для меня горячо любимой, справедливой и всезнающей, но это и хорошо, так как по-своему готовило нас к реальной жизни. Отличать меня от других, боюсь, она стала довольно поздно: в моей первой похвальной грамоте за третий класс еще написано рукой Анны Яковлевны «Савельевой Людмиле». Но это было немудрено, так как у нее, по словам успокаивающего меня отца, таких гавриков, как я, было без малого сорок. Однако в четвертом классе она уже твердо знала мое имя.

В последний день моего четвертого учебного года, день расставания с Анной Яковлевной, вместе с другими родителями пришла моя бабушка и преподнесла ей от нашей семьи букет роз и хрустальную вазу. При этом она была поражена тем, что Анна Яковлевна участливо спросила: «Зачем же вы ждали конца?» Наивная бабушка сначала даже не поняла смысла, и после возникшей паузы ей осталось только развести руками...

Чтобы больше не возвращаться к личности моей первой учительницы, расскажу и о дальнейшей ее жизни. Она оставалась очень авторитетным в городе педагогом-методистом начальных классов, живо интересовалась своими выпускницами, когда мы учились все последующие шесть лет. Гордилась нашими отличными успехами и скончалась от рака очень рано, на 49 году жизни, притом в день первого нашего выпускного экзамена.

Наверное, с высоты прожитых лет мне это только кажется, что в моей детско-подростковой жизни ощущался рубеж на стыке начальной и средней школы. Но ведь у меня в этом возрасте совпало сразу несколько своего рода психологических потрясений: и переход от совсем детского, одноокошечного взгляда на мир из стен класса Анны Яковлевны к полифоническому влиянию многих учителей; и выход за пределы хоть и большой, но только маминой семьи; и выезд из стен своего города Полтавы; и, наконец, просто первое осознанное знакомство с Россией!

Помню, как уже в вагоне была неприятно поражена, когда увидела после веселых белых украинских хаток удручающие цветом деревянные избы – «избы серые» «нищей России», воспетые А.Блоком. Зато и как же я их потом полюбила в архангельских и вологодских деревнях в студенческие годы! Неслучайно из всех чудесных пейзажей И.Левитана мне очень дороги именно все его «Избы» – на фоне багрового заката, после заката и освещенные солнцем. С большим огорчением отметила я про себя после привычных мальв, сирени или подсолнухов «коло хаты» – пустые лужайки или некрасивую картошку под окнами (как потом оказалось, ни к чему растительность, если комары в северном климате не дают житья).

Но как же восторженно мы с братом встречали за окнами поезда вместо уже не замечаемых нами лесостепных пейзажей – необыкновенно прихот-

ливо раскидистые дубы, плавно переходящие в сплошной дубняк, а потом стройные и нескончаемые прозрачные березовые рощи. И как поразила своей грандиозностью Москва – с ее устремлениями не только ввысь новых зданий и вширь площадей, но и вниз, в сказочно-праздничные, как мне тогда казалось, подземные залы метро (это потом уже узнала про их архитектурный замысел как дворцов прекрасного будущего).

Я ведь выехала из своей любимой Полтавы, даже почти что из одного ее известного мне уголка, чтобы провести целых сорок дней там, где радовали мои широко распахнутые глаза дотоле знакомые лишь по картинкам башни Московского Кремля, Храм Василия Блаженного, Красная площадь, памятник Пушкину, Большой театр и т.д. и т.д. Наш отец тогда все-таки выкроил для нас время и поводитил по своим любимым местам, сопровождая их не только историческими экскурсами, но и своими очень живыми воспоминаниями. В общем, московское лето тогда заметно раздвинуло мои детские горизонты – не книжно-воображаемые, а реальные.

Ну как тут не вспомнить известное суждение, что год детской жизни совсем не соответствует по своей насыщенности жизни взрослой!

(Окончание следует)



Лидия Владимировна Савельева

родилась в Подмосковье.

Детство провела в Полтаве.

Окончила филологический факультет

*Ленинградского университета, аспирантуру
под руководством профессора М.А. Соколовой.*

*50 лет проработала старшим преподавателем, доцентом,
профессором, заведующей кафедрой русского языка*

*Карельского педагогического вуза
(института, университета, академии).*

*Доктор филологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Республики Карелия и РФ.*

Награждена орденом Дружбы.

*Автор 6 книг, более 230 публикаций
в центральной («Филологические науки», «Вопросы языкознания»,
«Русская речь», «Русский язык в школе», «Мир русского слова» и др.),
академической и региональной печати России,
Сербии, Украины, Белоруссии, Израиля.*

